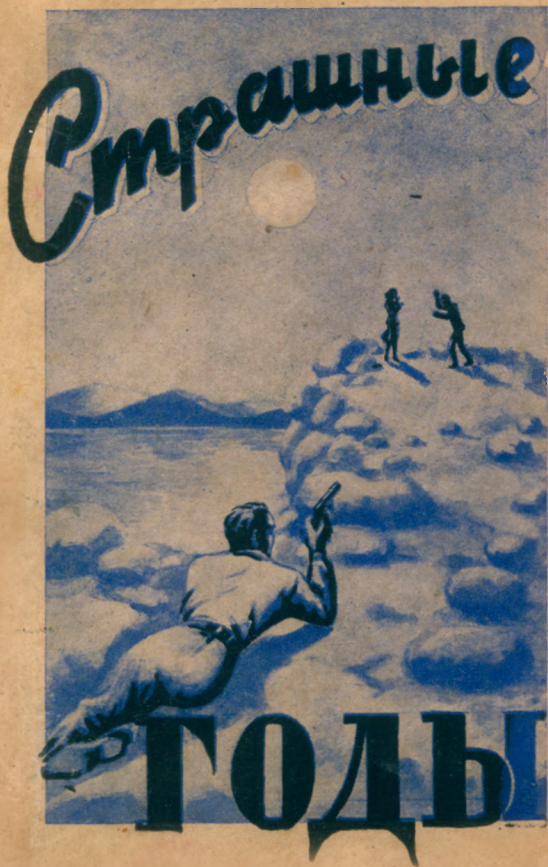


Н. БЕЛОГОРСКИЙ



Н. БЕЛОГОРСКИЙ

**СТРАШНЫЕ
ГОДЫ**

«Родина»

I

Я тогда сидел в китайской тюрьме.

В городе Урумцзы; или Урумчи, по русскому произношению.

Это провинция Синь-Цзян, лежащая между Монголией и китайским Туркестаном. Начало пустыни Гоби. И там нет ни фарфоровых башен, как та Нанкинская, что разрушили во время своего восстания тайпинги, ни императорских дворцов, в которых поют, как в Андерсеновской сказке, заводные соловьи; ничего затейливо смешного, что всплывает в воображении при звенящим игрушечными колокольчиками слове Китай.

Одна серость и грязь. Лужи на улицах такие, что, случается, тонет в них лошадь. Тяжелые запахи бобового масла и черемши.

В раю же этом тюрьма. Описывать ее я не собираюсь. Ибо не в том тут суть, как устроены места заключения у китайцев, и существенно важно для всего этого рассказа лишь то, с кем вместе я сидел.

Только о нем и будет идти здесь речь. О нем и женщине, которую он любил.

Его звали Вольнский.

Сейчас это имя никому ничего не говорит, потому что случилось так, что этот человек сломался, — как ломается перетянутая пружина. Но в годы войны, семнадцатый, восемнадцатый и девятнадцатый, многие из нас могли ждать от него многого; и я вот твердо знаю, что был на Вольнского отпущен Господом Богом хороший материал; сталь того же сорта, из которого выковались прославленные герои. Только счастье разное.

Я сказал: генерал-лейтенант Вольнский. Генерал, — значит, по привычным человеческим представлениям, старик. Но контр-революция и революция, — враждующие сестры, — равно любят молодость и молодых вышлют на гребень.

Примеры, — Гош и Деларош Жаклен; двое главнокомандующих, революционный и вандейский. Так Вольнский, хоть и был старше каждого из них, но все таки и тридцати пяти лет ему еще не прозвонило.

Вместе же с молодостью, — не успевшее отяжелеть тело, лишь слегка помеченное счастливыми путями; порода в каждой линии; и когда-то уверенно легкие движения.

Легкие, в прежние времена; до того, как выпало Вольскому сломаться. А теперь были они усталые и замедленные. Погасшие.

Это и не удивительно, ибо, сломавшись, стал он меньше, чем ничем: мертвый еще при жизни.

Мысль, впрочем, оставалась у Вольнского ясной и, если не доискиваться до конца, здоровой.

В тюрьме мы курили. Опиум. За деньги ведь все можно достать.

Курили по ночам, когда безкосый тюремщик дунганин загонял нас в подобие клетки, с деревянной решетчатой загородкой, точно у курятника. И прежде, чем навесить неуклюжий, скрипучий замок, сам же он приносил нам лампочку для нагревания снадобья.

Такой неподвижный, обещающий заморозить огонек.

Сейчас, когда европейцев месяцами и годами можно гноить в Урумчинской тюрьме, от бывшего престижа осталось одно воспоминание и, понятно, посадить вместе с нами без малейшего стеснения могли бы и китайских базарных воров, и калмыцких конокрадов. Но нам везло, и почти всегда мы в нашей с Вольнским клетке спали и курили вдвоем.

Впрочем, тут маленькая неточность: растревоженные запахом опиума, вылезали из щелей клопы и тараканы, заполняя своими полчищами досчатый настил, и замирали, не-

подвижные от наслаждения. Тоже вдыхали курево.

Клопы тараканы и мы.

Надо мной наркотики не имеют власти, и я не пристрастился к опиуму. Вольнский же втянулся еще задолго до того, как мы стали курить вместе, был на хорошем числе трубок и переживал тот период, когда опиум развязывает язык.

Хотя сказать, что становился 'Вольнский оживленным, можно лишь с натяжкой. Все слова у него были... точно каменные, — если могут быть каменные слова. Или машинные, как в говорящих фильмах.

В эти дымящиеся опиумом вечера я и узнал о нем все.

Как генерал-лейтенант Вольнский сломался и как попал сюда, в Синь-Цзянскую дыру.

II

Но сначала про счастливое. И, значит, про любовь. Про ту любовь, которой Бог, — не улыбайтесь, — Бог одарил Вольнского, послав на его пути Андреэ Бремон.

Mlle Andrée Bremond из Императорского Михайловского театра.

В том, что модная и пользующаяся успехом французская актриса сходится с офицером весьма блестящего гвардейского полка, я знаю, нет ровно ничего ни замечательного, ни редкостного. И ничего особенного нет в том, что, начавшись с легкой, как пена шампанского, влюбленности, такая связь может закрепиться, став достаточно приятной обоядной привычкой.

На время.

До тех пор, пока удовольствие не выдохнется, как духи, — что обыкновенно наступает скоро.

Но, очевидно, было в этой паре, в Андрэ Бремон и в Вольнском, что-то, с чем не так просто встретиться в жизни и что всего чаще остается сокрытым, как от актрис на Императорской сцене, так и от офицеров гвардейских и негвардейских полков. Мое мнение, что это было очень нежной и очень полной искренностью, когда нет в душе никаких перегородок. И кроме того, — совершенной невозможностью сделать больно тому, кто вам доверился.

Понимаете: — когда лучше отрезать себе руку и лучше стать некрасивой навеки, чем обидеть того, кого любишь.

Религия любви.

Любовь, большое слово, — и я не склонен им злоупотреблять. Предпочитаю скорее быть сухим.

И тем не менее, с полной уверенностью говорю: да, их связь была любовью. Настоящей.

Я знаю, что сейчас в доказательство мне полагалось бы сослаться на какой-нибудь очень героический и поражающий воображение факт: ну, скажем, что Волынский драгса за Андрэ Бремон на десяти дуэлях, или дал перелить ей свою кровь после тяжелой болезни, или, по меньшей мере, вышел из полка, чтоб можно было на ней жениться.

Такого ничего не случилось, потому что не было в этом нужды.

Но связь их, — их любовь, — началась в году девятьсот десятом и продолжалась сквозь войну, сквозь революцию, сквозь большевизм. Когда в декабре девятьсот семнадцатого года Волынский ушел на Дон к Корнилову, Андрэ Бремон осталась в Петрограде: у актрис, как и у военных, есть свой строгий долг. Она видела умирание Михайловского театра, запустение Петровской столицы и вместе со всею французской труппой вернулась на родину...

Дальше же, после того как союзные флоты вошли в Черное море, Андрэ стала искать.

Нашла, — и осенью 1919 года высадилась в Новороссийске с Conte di Savour, привезшего ее итальянского парохода. Приехала для того, чтобы снова соединиться с тем, кого не перестала любить.

Значит, девять лет без измен, без ревностей и без усталости. Девять не потускневших лет.

Радостная любовь и счастливая, — как солнце летом.

III

А теперь одна черта из времен тюремных.

К воспоминаниям о своей дореволюционной жизни и об Андрэ Бремон Вольнский возвращался часто. Но никогда не замечал я, чтобы звучала в его словах тоска или чтоб был в них след неразумных желаний воскресить то, что не воскреснет.

Обычно приятно думать, что не хотеть несбыточного хорошо и что это помогает жить.

Помните сказку про рубашку счастливого человека? В детском изложении или в пересказе Франса, безразлично.

... Не имел даже сорочки и все-таки обходился без желаний...

Я же такого мнения, что, если-б отыскалась у безрубашечного пастуха рубашка и

принесли бы ее королю, то не выздоровел бы король ни за что.

Потому что неправда это! Нет худшего несчастья, чем быть лишенным способности желать, хотя бы и химеры. Ибо для того Бог и создал мир, — и вишни, и цветы, и соловьиное пенье, и любовь, — чтоб люди всего им сотворенного желали.

Волынский же, даже до тюрьмы в Урумче, перестал хотеть.

IV

Еще одно.

Любовь их была бездетная.

И, — хотя, может быть, это помогает любить сосредоточенней, — все-таки нехорошо, в особенности для мужчины, чтоб обрывалась на нем от Адама тянущаяся ниточка жизни.

Тысяча поколений. Потом я, — такой точечкой. И после меня — ничего; пропасть небытия.

Плохая это выходит схема; и опасно стоять над пропастью: вдруг потянет броситься.

V

Андрэ приехала к Волынскому на фронт
Правила о пребывании женщин на войне

можно писать какие угодно, и какие угодно могут быть взгляды на этот счет, — но отказать Андрэ было бы оскорбительно и даже бесчеловечно.

Приехала она в одной из машин Волынского со стареньким ротмистром, его адъютантом. В передвечерний час бледного октябрьского дня, когда шрапнели, всплывавшие на дальнем горизонте, были как завитки на сером каракуле неподвижных, точно готовых заснуть облаков.

Во время боя.

Лучше сказать боев.

За семнадцать дней перед тем Волынский, поставленный во главе группы корпусов, начал наступление к Круторожску*) на Волге, — «Красному Вердену», по хвастливому сравнению большевицких газетчиков. И, в течение семнадцати уже истекших дней операции, красные были последовательно сбиты с ряда рубежей.

Сейчас, в бинокль можно было уже различить на севере золотые кресты на маковках церквей в Круторожске.

Впрочем, видно в степи далеко; и видеть

*) Круторожска, как всем известно, нет. Название я просто выдумал.

— это совсем не равнозначуще тому, что называется: рукой подать.

Полки же Волынского в длительном, непрерывном усилии вычерпались уже почти до доньшка.

Сейчас, когда отшумела трескотня последней атаки, когда уползал вспять побитый бронепоезд красных, закат этого дня походил на перерыв в боксе, — после семнадцатого роунда.

Утомительно.

Собирались на поле конные полки, перед тем как разойтись по ночлегам. Гнали пленных, — такие длинные, серые реки людей.

На невысоком кургане, поблизости от железнодорожного полотна, веял, на пике воткнутый в землю, командный значек Волынского. Большое желтое полотнище.

Старенький адъютант уже издали указал на него Андрэ Бремон.

Шоффер в кожаной куртке остановил машину у самого подножья, и глазам Андрэ, вероятно, открылась сразу вся группа военных в черкесках и френчах. В ту же минуту и Волынский, должно быть, увидел в глубине подъехавшего Фиата бежевое спортивное пятно.

Нет сомнения в том, что сбежал он с кургана единым духом. Пьяный от своего дол-

гожданного счастья. Радостно потрясенный.

Но подумайте же о том, что трудно дать волю чувствам, когда приходится встречать свою любовь на глазах у всех, у толпы посторонних; когда командуешь на поле боя; и когда годами привык быть сдержанным на людях.

Да, им хотелось броситься друг к другу, так чтобы он вынес ее из автомобиля... Но в последнюю секунду удержались оба.

И прошла встреча Андрэ Бремон с Вольтинским так.

Она просто отдала ему обе свои руки, — и руки в перчатках. Андрэ же ответила поцелуем в лоб. Уверенным. Как жена.

Потом, опираясь на руку Вольтинского, Андрэ взойшла на курган. Видела последние прощальные вспышки выстрелов из уставших за день орудий. Вместе с Вольтинским смотрела на всю эту одетую в войну степь. И ее пальцы сплелись с пальцами Вольтинского в ласке невидимого для посторонних жеста.

Вольтинский же, указав на север, в сторону города, сказал:

— Завтра мы возьмем это все в честь вашего приезда.

Здесь же на кургане он ей представил своих офицеров.

Да, это было похоже на приезд Роксаны

под Аррас, — совсем так, как Андрэ Бремон приходилось играть это в четвертом акте Сирано.

В довершение сходства оказалось, что привезший ее Фиат был полон вкусных вещей: foiegras и берестовые коробочки камамбера, и байонский окорок. И прозрачно золотое вино их полковой до-военной марки, — то, что Волынский любил.

VI

Ночевали на станции, верстах в четырех позади; в штабном поезде Волынского, где у подножки его вагона стоял часовой кубанец.

За ужином было весело. И все, все, — до самого последнего, выслужившегося из простых казаков хорунжего, — были в этот вечер влюблены в Андрэ. Такою восторженно бесплотною влюбленностью, какую вызывают королевы.

У Волынского осталось четкое воспоминание об этом.

Потом же, — слушайте, — Волынского вызвали из-за стола: для допроса какого-то пленного, хотя заниматься этим никак не пристало генералу, — почти командующему армией.

Пленный красноармеец был ражий детина с недавно бритой головой и провалившимся носом. Совсем из каторжников.

Босой. Без сапог.

В памяти Вольнского с него точно фотографию сняло.

Красноармеец с первого же часа своего пленения добивался увидеть командующего:

— ... Их самих, генерала Вольнского.

И стоял на том, что в плен его отнюдь не брали, а пришел он к казакам по своей воле.

— Что-ж тебе от меня надо? — спросил почти рассеянно Вольнский.

— Имею нужду говорить с вашим высоким превосходительством один на один.

Когда же велели красноармейцу не ломать дурака, он все стоял на своем, повторяя точно затверженный урок:

— Имею сообщить важные вещи, лично до вас самих касающие.

Как это ни несообразно, но Вольнский уступил домогательствам красноармейца и выслал всех.

Когда же остались они вдвоем, то пленный, рванувши подкладку своей папахи, достал вчетверо сложенную бумажку и подал Вольнскому.

Я эту бумажку видел и читал сам, потому что она навсегда осталась на Вольнском.

В бумажке, печатанной на машинке, стояло:

— «Командующему белогвардейскими бандами товарищу Вольнскому (такой идиотский адрес).

Распоряжением реввоенсовета 11 арестован в Круторожске и содержится при особом отделе бывший царский генерал Вольнский, (Константин Николаевич). Реввоенсовет предписывает вам срочно приостановить наступление и отвести все белогвардейские банды на два перехода за линию такую-то. (Линия была обозначена точно; видно писал кто-то

Вы предупреждаетесь, что в случае неповиновения отец ваш будет властью революционного пролетариата расстрелян.

Об исполнении донести».

Внизу три подписи: два русских имен, одно грузинское.

И было это, точно кирпич на голову.

Понял Вольнский с первого взгляда, брошенного на бумажку; раньше, чем дочитал верхнюю строку:

— Что его отец во власти красных; и что ему, Вольнскому, этим накидывают на шею петлю.

Понял, и сам перед собой не хотел признаться, что понимает. Перечел снова.

Все буквы стояли на месте, и не изменился скверный смысл слов. Электрические лампы в потолке вагона сияли ослепительно больно.

Тогда в Волынском волной поднялось бешенство. Он схватил пленного за горло и, то сжимая, то отпуская пальцы, повторил дважды:

— Так ты врать! На смерть заporю! — И оттолкнул сейчас же.

В глазах у красноармейца был страх. Он торопливо протянул Волынскому еще две маленькие вещицы, где-то до того запрятанных.

Нательный крест и печатку.

Креста Волынский не узнал, — скорее догадался; а гербовой печати не признать было невозможно: их Волынских башня и три челна.

— Где украл? — спросил он, еще защищаясь от очевидности.

И улсышал последнее объяснение:

— Так что, как они, родитель ваш, письмо собственноручное подписать отказались, то с них вещи и отобрали. Для доказательства истины, что значит находятся в народной власти.

Волынский долго держал в руках печать. И пленного он не заporол и не повесил.

VII

Петля на шее. . . Что, спрашивается, можно в таком положении предпринять?

Единственно одно только, — разрубить веревку, пока не успела она вас задушить.

Волынский так и сделал: раньше предполагалось им возобновить атаку в девять утра. Теперь же он отдал приказ всем конным дивизиям начать движение в четыре. По темноте. . .

И взять Круторожск.

Ответ полный доблести. Ничем не худший, чем жест отца, который там, в Круторожской чрезвычайке, во власти палачей, наотрез отказался подписывать шантажное письмо к своему сыну.

Это так.

Но для полководца и вождя, связанного со своим войском дружбой войны, то есть самой большою дружбой, растущей из вместе пролитой крови, было бы естественно всем и всем прокричать, что надумали с ним сделать враги.

Волынский же ничего и никому не сказал. Замкнулся, на одного себя взвалил всю великую тяжесть.

И совершенно так же, как промолчал он с уводившими красноармейца казаками, со

своим начальником штаба, с командирами полков, — так же промолчал и перед Андрэ, своею любовью.

Впрочем, может быть, в Андрэ Бремон и в любви к ней Вольнского и следует тут искать разгадку.

Не хотел одеть трауром их праздник. Предпочитал сам замучить себя в одиночестве молчания, но не огорчить ее...

Бедный Вольнский. И неумный Вольнский!

Как будто он не знал того, что в Андрэ Бремон душа живет большая. И как будто не для того послана на землю любовь, чтоб от одного доверчивого к ней прикосновения рождалась сила, над которой уже безвластна поделенная боль.

Но он смолчал.

Невозможно, конечно, допустить, чтобы прошло все это абсолютно незаметно. Играть Вольнский должен был много хуже, чем партнеры Андрэ по сцене, Ле-Баржи и Александр и покойный Коклен.

Разумеется, Андрэ заметила, что есть неладное, и беспокоилась и спрашивала. Только ничего она не добилась.

В первый раз в жизни разделила их тайна вымученной лжи.

И, — снежный ком нарастает быстро, — в

восемь вечера Волынский утаил об отце; а в десять, — того же вечера, — скрыл новое: о себе самом.

О том, что приказал перевести через линию охранения и переправить обратно к красным того самого пленного; и что пленный этот должен был принести на себе его Волынского секретную записку, адресованную в реввоенсовет.

Коротко говоря, предложил Волынский чекистам обмен.

Пусть возьмут его самого вместо отца.

VIII

Это рассказать, этим поделиться Волынскому воистину было невозможно.

Ясно, что, как только оформилось в нем решение выкупить отца, отдавшись самому в руки врагов, так, — с той же самой минуты, — оказался он отгороженным от всего мира. От своего мира. От Андрэ Бремона.

Остался Волынский один, лицом к лицу со всем, что ополчилось на него враждебного и злого.

Подходящее сравнение я знаю тут лишь одно: духовидец, укрытый в центр пока еще обороняющего его магического круга; но уже истончилась защитная черта, и страшнее все-

го то, что самого влечет выйти из круга в темное.

IX

Коротенький остаток этого вечера был Во-
лынский точно во сне и отвечал невпопад,
усиливаясь казаться радостным.

Разошлись посторонние люди; они остались
с Андрэ вдвоем.

И я думаю, что любовь Во-
лынского в ту
ночь должна была быть похожей на полную
отчаяния попытку расточить, раскидать, рас-
тратить все свои силы вне страдания; так, —
чтобы нечем стало страдание ощущать.

Умереть на все то время, что осталось ему
до свершения срока.

Во-
лынскому это удалось: любовь и, после
любви, сон бездонный, как смерть.

В их купе пахло последними Кароновски-
ми духами.

Париж... Петербург... Сегодняшняя их
последняя ночь.

Потом Во-
лынский проснулся, как от удара.
Час был, — какой-то.

Точно повинуюсь чьему-то шедшему извне
приказу, Во-
лынский оделся и вышел в ко-
ридор.

В оконные стекла светила луна. Полная. Зеленовато бледная.

И за стеклом, прижавшись к нему продавленным носом, лицо красноармейца с выпуклыми скулами. Такой пристальный взгляд.

Пришел за ним?

Волынский откинул дверцу на площадку; вышел наружу.

Часовой казак мерно ходил по платформе, точно не видя чужого; точно не был то человек во плоти.

Если хотите, вы можете думать, что было это все галлюцинацией. Но важно то, что самому Волынскому и в голову не пришло усомниться в реальности ночного гостя; как не пришла ему мысль, что не мог, физически не мог отосланный в Круторожск пленный вернуться назад так скоро.

На глазах у невидящего часового, они, — Волынский и красноармеец, — вступили в разговор. Были ли слова, я не знаю, — но Волынский спрашивал и красноармеец с продавленным носом отвечал. И они понимали друг друга.

— Принято ли?

— Принято.

— Ждут ли?

— Ждут.

Еще же:

— Идем!

— Иду.

Красноармеец шел уже. И Волынский пошел за ним, пересекая железнодорожные пути. В сторону от станции. Пешком. Через степь.

Х

Это было в высокой мере фантастическое путешествие. Прозрачно холодной ночью. По увалам и балкам.

Балки, все обманно одна на другую похожие; скверные; точно замороженные неживым светом шаманящей в небе луны.

Балки, кусты и молчанье.

Ни выстрела, ни лая собак, ни конского топота, ни скрипа возов, — хотя вся степь была полна ночующего войска.

Только их двое: бесшумно и безостановочно, ни разу не сбившись, шедший впереди красноармеец и Волынский в плохо застегнутой черкеске.

Их тени бежали по освещенным луною пространствам, длинные и нечеткие.

Что мог думать и чувствовать этой ночью Волынский?

Он говорит, что ничего.

И это, должно быть, верно. Такая пустота черная, когда все становится лишенным смы-

сла, — даже земные формы вещей. Ну, зачем пальцев на руке пять, а не четыре или не сто двенадцать? . .

Не встретив никого и никем не будучи встречены, они прошли, — вероятно, прошли, — линию казачьих постов. Впереди, через развилину глубокой лощины, на том ее берегу, смутно наметилась насыпь железной дороги.

Насыпь, до которой не докатилось днем наше наступление. И, значит, по насыпи — они. Браги. Красные.

Безносый впереди, не замедляя хода, обернулся. Точно проверял, идет ли за ним незримой нитью привязанный Вольнский.

Да, Вольнский шел.

Нечаянно, завернутый рукав его черкески зацепился за кинжал.

Недолго уже ему цепляться. Вот сейчас сорвут оружие враги.

Так лучше же самому его бросить! Вольнский стал отстегивать узенький пояс, но пряжка не поддавалась пальцам.

Он остановился, чтоб справиться с затянутой пряжкой. Остановившись же, сел. На землю.

И когда сел, — то не стало больше времени. Потом очнулся.

Ночная чернота начинала переходить в се-

рое, и у ослабелой луны не хватало уже силы родить предметам тень.

Во всяком случае — больше четырех утра. Час наступления.

Над Волынским, глаза в глаза стоял все тот безносый. А у железнодорожной насыпи впереди уже различались смутно столбы и люди. Их пост.

Красноармеец опять позвал.

Волынский поднялся и сделал сколько-то шагов.

Два.

Или три.

Оттуда, с насыпи, обдало его пулями.

Реальными, как день, пулями из трехлинейных винтовок.

Трах — Трах — Трах — Трах — Трах...

И последний прилив почти замученного в эту ночь инстинкта жизни заставил Волынского стать; бросил за выдавшийся мысом бег балки; заставил нащупать кинжал.

Не для того теперь, чтобы отстегивать.

Где-то вдалеке ухнул пушечный выстрел, сзади же раздельно и гулко застучали о затверделую землю копыта коней. Настигающий радостный шум.

Голоса казаков.

Дозорные наехали на Волынского вплотную.

Неожиданность. Минута остолбенения. И Волынский, уже верхом на чьей-то лошади, потребовал вперед командира головного полка, начальника дивизии, всех:

— В линию колонн, и за мной. Разнесите эту сволочь!

Я не знаю, что стало с безносым: добежал ли он до своих или расплылся бесследно в умирающем свете луны. . .

XI

Живописать войну не входит в рамки этого моего рассказа, но все-таки. . .

Такая широкая лощина. И в ней, надвигаясь из глубины, масса конницы. Темная масса, кажущаяся черней, чем побледневшая ночь. Шум поспевающих рысью батарей.

Приняв последние приказания, разлетелось по своим местам начальство.

Повторяя друг друга, отзвучали протяжно громкие слова команд.

Волынский взмахнул нагайкой.

И, — так, как вскипает мгновенно молоко, — пошла вперед, выливаясь через края ло-

щины, конница. Широкими волнами полков, построенных в линци взводных колонн, выкатывались одни за другими всадники в свисающих на крупы лошадей бурках, с шашками наголо.

Красок еще не было видно. Одни контуры. Где-то заиграли трубачи.

И в ту же секунду вся степь впереди зажглась стрельбой. Ружейной, пулеметной, орудийной, — всякой.

Точно встречный ветер смерти.

А более просто, похоже это на треск сухого хвороста в гигантской печи с поддувалом.

Передовые отдельные посты красных затопило с налета; и все дальше и дальше разливалась атака, грозя изорвать протянутые через степь полосы товарищеских окопов.

Лошади стлались на намете.

Еще минута. Две.

Фигуры повыскакивавших вон из своих траншей и вставших в рост пехотинцев были видны почти ясно. И, как бьющаяся в постромах лошадь, сделалась их стрельба. Изступленная.

Потом стихло все.

Десятки тачанок уходили вскачь, вывозя спасающихся комиссаров.

И сейчас, когда кончилась стрельба, слы-

шен стал хриплый рев остервенелых всадников в атакующих волнах.

Взрыв по скату последнего оврага, лошадь Волынского впрыгнула в гущу товарищеских солдат, и сам он, не разбирая кого и зачем, плетью хлестал врагов по рукам, по лицу, по затылкам.

Кругом сдавались, бросая оружие; и казаки начали сгонять пленных в бесформенные кучи.

Небо на востоке порозовело; и, при первом свете занимающегося утра, Волынский, посылая офицера разыскать и привести сюда к нему его полевой штаб, написал еще одну записку, — к Андрэ.

Победную.

Только, не знаю, была ли записка действительно радостной.

XII

Как провела этот день Андрэ Бремон, в точности мне неизвестно.

Вероятно, она не очень была удивлена тем, что проснулась в одиночестве. Не очень, — потому что и разбудил то ее, должно быть, только стук в дверцу купэ, когда принесли записку Волынского: присланное с боя поздравление с добрым утром.

Такое трогательно внимательное.

От этого сразу становится улыбчивей весь день, и вдвое красивей выглядят женщины, — добавочной красотой любви.

Хорошенькая, любимая, счастливая.

Были ли на душе у Андре Бремона вопреки всему этому тени?

Да, были.

Неясная, родившаяся вчерашним вечером, тревога. Боязнь неизвестно чего.

Но только не нужно преувеличивать: когда все кругом чудесно хорошо и когда, даже при самой большой одаренности *double vue*, невозможно додуматься до истинного лика уродливых причин, родивших беспокойство, тогда тревожное чувство засыпает легко. И если, мгновеньями, начинал все-таки шевелиться в Андре червячок тревоги, то конечно оставалось ей приписывать это только естественной способности женщин беспокоиться за своих мужей, любовников и братьев, находящихся на войне.

В сущности это почти смешно.

Ее Волынский. Такой мощный большой орел, всю жизнь свою ни в чем не знавший поражения.

Для нее же все это утро было утром о Волынском. О нем, об его удачливости и доблестях взапуски повествовали вестовые, ломав-

шие язык так изощренно, что Андрэ в конце концов начинала понимать по русски; о нем рассказывал за кофе приставленный к Андрэ, его старенький адъютант, однополчанин Вольнского, знакомый ей еще по Петербургу; о нем, Вольнском, без перерыва гремели пушки.

И о Вольнском шептали потихоньку три синих пятнышка, которые со вчерашней ночи спрятанные от всех Андрэ носила над сердцем и в той нежной впадинке душе, где начинается шея.

Ее Вольнский.

В окна было видно, как под станционным навесом лежали вповалку пленные. Свеже взятые, сегодняшнего дня. Их серое стадо все прибывало.

И гул пушек неуклонно отодвигался на север — в сторону врага и нашей победы.

За завтраком в вагон ресторан собрались все мирные офицеры штаба, — те, кто, не воюя, всегда чудесно осведомлен. Ночевать собирались в Круторожске, и заведующий штабной столовой обещал Андрэ подать на завтрак уху из волжских стерлядей. Может быть, сказал еще:

— Лучше, чем в Москве у Тестова.

Только, — пушки вдруг перестали отодвигаться, и даже наоборот, канонада с каждым

пятью минутами становилась слышной.

Вокзальные помещения наполнялись ранеными. В вагон Волынского к Андрэ привели гостя: с простреленной ногой полковника. Унылого. Андрэ приготавлила ему чай...

Затем же, часа в четыре дня, пришел поездной комендант сообщить, что получено приказание отводить поезд назад, — что-то на две или три станции.

Прицепили паровоз. Толчок. Поезд тронулся, и его колеса, постепенно ускоряя темп, твердили в уши:

— На-зад... На-зад... На-зад.

Синие пятнышки над сердцем и во впадине души жгли Андрэ воспоминаньем. Сразу, неудержимо ей захотелось плакать. Навзрыд. Ее Волынский...

XIII

Пути Божии неисповедимы, и никому не дано заранее знать судеб сражений.

У красных под Круторожском было две укрепленных позиции, из которых первая, передовая, пала на всем протяжении еще к 9 часам утра. Второй же, главной, Волынский не взял, и о нее разбилось выветрившееся уже усилие предводимой Волынским группы корпусов.

Неудача.

Как это вышло?

Я не хочу вдаваться в подробности. Но психология неудачи всегда одна. Дивизии, которые никак не хотят сдвинуться вперед; снаряды в батареях на исходе; плаксивые телефонограммы о превосходных силах врага, обходящих фланги. И когда какой-нибудь выдохшийся полк, — после многих понуждений, — удастся бросить в атаку, он непременно возвращается растрепанный и разбитый.

Лучше тогда выйти из боя. Отступить. Передохнуть.

То, что со всею осторожностью высказывал Вольнскому его начальник штаба.

Выйти из боя под Круторожском... Легко сказать.

Отступить сегодня...

Когда есть Круторожская чрезвычайка, когда в кармане бешмета спрятано у Вольнского письмо, подписанное тремя членами реввоенсовета. То письмо. Может быть, властью революционного пролетариата будут сейчас расстреливать отца.

А он, Вольнский, отступит? Сделать так, как хотят те... Они... Враги...

Сейчас, — когда уже брошен за него судьбою жребий...

Да, конечно, у Волынского было больше, чем надо, оснований, чтоб быть упорным и упрямым вдвойне. Нахмуренно упрямым.

Как маньяк.

... И наступил конец.

Было четыре часа пополудни. Дальние, не удерживаемые волей Волынского, корпуса уже откатились далеко назад. А здесь, на главном направлении шел еще бой.

За холмиком, похожим на вчерашний, держали лошадей вестовые. Желтел, как и вчера, значек. В небе же, над лошадьми, над значком, уже рвались белою ватой товарищеские шрапнели.

Войска сдавали.

Впереди, одетая разрывами, отходила изломанной линией цепь пластунов. И видно в бинокль, как еще дальше лежат неподвижными черными пятнами подбитые неприятельской артиллерией танки. Точно раздавленные Жуки.

Они, эти трупы машин, уже захвачены врагом.

Туда, навстречу наступавшим красным, в самое пекло, четверть часа тому назад устало и неохотно пошла бригада конницы. Из той

самой Кубанской дивизии, что атаковала сегодня перед рассветом.

Вольнский глаз не отнимал от бинокля.

И бросил сразу.

Как разбитый табун, как стая испуганных птиц, в дыму и в пыли неслись назад всадники, — его последний козырь. И за ними, рассеянными, видно было другую конницу. Врагов.

Какие-то батареи, взявшись на задки, уходили.

По холмику, по значку снова просыпалась очередь шрапнели. Кто-то застонал, кто-то распоряжался. . .

. Вестовой подал Вольнскому лошадь. Рыжего чистокровного жеребца, дар Всевеликого войска Донского. Испуганное животное прыдало ушами.

Кругом уже все сидели. Готовые отступать.

Вольнский, резко оттолкнувшись от земли, без помощи стремян, врыгнул в седло и обвел взглядом свой штаб. В глаза ему бросился кто-то из артиллеристов, и Вольнский наехал на него так, что столкнулся коленями.

— Передайте на батареи, чтоб огнем встретили этих. . .

Он не закончил, ткнул рукой в сторону бегущих.

— Что!? Вы слышали!?

Офицер взял под козырек.

Волынский же, оборвав на полуслове начальника штаба, подскочил к конвойной сотне.

— Шашки вон! За мной!

И не ожидая ни секунды, не поворачивая головы, чтобы взглянуть, идут ли за ним, пустил коня навстречу пыльному потоку бегства.

Удержать, остановить, повернуть.

Да, остановите полторы тысячи обезумевших людей. . . С размаха, со всего плеча, Волынский ударил плетью в лицо какого-то урядника. Разсек в кровь.

Невозможное — невозможно. Бегущей конницы Волынский не остановил, и вот рядом с ним вместо своих, выросли уже чужие. В фуражках, со звездами.

Поднятые шапки, из которых не опустилась на голову Волынскому ни одна. Враги шарахались, давая проход.

Значит шел всетаки за Волынским кто-то! Тут же, — по хвосту.

XIV

Как это сделалось, никто никогда не сумеет рассказать связно. Верно же одно, что ко-

ня Волынский не повернул: проскочил насквозь через эскадроны врагов. Как пуля через стекло.

Нетронутый, целый.

Он и с ним те, что не отстали от своего генерала: конные вестовые, кто-то из офицеров, с десятков казаков конвоя.

Теперь, когда кругом внезапно сделалась пустота, Волынский остановил лошадь.

Назади, там, откуда он прискакал, уже скрывалась из виду конница, чужая и своя. В нескольких шагах от Волынского, уткнувшись носом в воронку от тяжелого снаряда, стоял поврежденный танк. Брошенный. И рядом с машиной, раскинув руки, лежал убитый человек. Раздетый до пояса. Кто-то из команды, кого уложило вражеской пулей.

Спереди густой цепью надвигалась их пехота. Шла, не стреляя. Зачем теперь...

И шагах в пятистах, из-за хуторка с садочком вдруг вынырнул еще конный строй. Эскадрон или два.

Волынский кинул взгляд на своих. Сравнил.

Мгновенье неподвижности.

Затем... Затем вестовой казак, ухватив лошадь Волынского за повод, у самого железа уздечки, рванул с места в сторону. И кто-то другой хлестнул по крупу жеребца.

Уходить.

В ушах засвистали пули.

Воля в Вольнском потухла, — мало ли он истратил ее в этот день, — и пассивно, совсем пассивно, он дал делать с собой, что хотят. Скакал, увлекаемый вестовыми.

Красные, с гиком, пошли погоней.

Это была первобытная скачка, призом в которой сделалась жизнь. Скачка без размышлений и дум.

И мало по малу, — может быть именно потому, что не стало места для мыслей, — инстинкт жизни наново проснулся в Вольнском. Уйти, уйти и уйти.

Широким неводом рассыпались красные по степи. Выскакивали откуда-то на перерез, сбивали со взятого направления.

Охота.

Дичью же был он, Вольнский, и те несколько казаков, что с ним.

Чудесно шел жеребец. Как машина, ровно и мерно дыша. Почти стипль-чезный пэйс. И сейчас вел Вольнский. Вел, сдерживая, чтоб могли поспевать казаки.

Какие-то хутора. Опять стрельба. Лесок. Овраги. Опять кто-то наперерез.

Ходу!

Проскочили.

Вольнский вел по снятым бахчам. Взлетел на бугор.

И сдержал жеребца.

Под ногами крутой спуск, песок и внизу широко разлитым серебром река. Луга на той стороне.

Волга.

Погоня попевала. Слышно было, как кричали:

— Сдавайся, товарищи!

Головоломным галопом Вольнский скатился по круче, и грудью лошади разрезая воду, бросился в реку.

Мокрый холод. Брызги в лицо. Жеребец поплыл.

Переплыть Волгу, — хотя бы и обмелелую хотя бы плыть по настоящему приходилось не больше, чем сто сажен, — это тяжелый подвиг. Ведь на упражнениях в плавании, люди всегда раздетые и расседлывают предварительно лошадей, — а тут во всем, как был, и под седлом лошадь.

Правда, сапоги уже в воде Вольнский распорол кинжалом.

И все-таки я не знаю, каким чудом он переплыл. Он и трое еще казаков.

Остальные утонули в реке, или были взяты врагами.

Тогда началась звериная жизнь. Перебраться назад, через Волгу, они не смогли нигде, и Вольнский пошел сам четверт к востоку, даже приблизительно не зная куда. . . К Колчаку.

Шли, как волки.

И хуже, чем волки, — потому что людям невозможно до бесконечности избегать жилья: умрут с голоду.

Зимовать пришлось за Уралом, с киргизами, которые сами спасались от красных. Здесь же в дикой степи умерло двое из бывших с ним казаков. Весной же 1920 года Вольнскому удалось пробраться в Семиречье к атаману Анненкову, и с войсками Анненкова в апреле месяце он перешел в Китай.

Здесь сперва долина реки Бараталы, где живут калмыки, и затем Урумчи. В конце концов тюрьма по настояниям и проискам советских агентов, сыпавших ланами. Но из

всего, что случилось с Волынским в Китае, самое примечательное то, что ни из Урумчи ни из других мест он никогда не отправил ни одного письма и ни одной телеграммы, хотя действует в провинции Син-Цзян и почта и телеграф.

Никогда. Никому.

XV

Тюрьма.

В тюрьме я спросил Волынского, удалось ли ему узнать хоть что-нибудь о судьбе отца.

Помню, с наисерьезнейшим видом он мне ответил, показывая рукой на окно:

— Раз, когда была луна, он, отец, пришел ко мне вот этой дорогой. Да, они расстреляли его в тот день, как обещали. Во дворе чрезвычайки, в четыре часа и десять минут пополудни. Видите, самые точные сведения. Первою пулей отца только ранило, и они добились его. В голову. Я видел на нем раны и кровь.

И, неприятно прищурившись, Вольнский потянулся за новой трубкой.

Сказал еще:

— А я вот, верно, никому не стану являться. Вообще предпочитаю, чтобы над ямой, в которую китайцы после смерти закопают, бурьян вырос и кончено все.

Тут маленькое примечание, которое я имею возможность сделать сейчас: в прошлом году мне удалось установить вполне точно все обстоятельства убийства большевиками Вольнского отца.

Так у сына были очень верные сведения.

Недели через две после этого разговора, меня отправили на новую квартиру, за много дней пути — в Лян-Чжоу-Фу. В тюрьму же: К генералу Фыну, «христианскому генералу» и другу большевиков.

Следовательно, пришлось мне с Вольнским расстаться.

И расставание наше, по крайней мере с его стороны, вышло весьма равнодушное, хотя и просидели мы вместе, в одной и той же клетке, несколько месяцев. Месяцы, в течение которых Вольнский раскрывался передо мною

до самого сокровенного, — а это невольно сближает.

Но, — в сущности, ему все было безразлично.

XVI

Против всякого ожидания Фыновские «христиане» выпустили меня. За мзду.

И — бывают такие резкие повороты, — маховым колесом жизни взметнуло меня наверх. Ровно через три месяца после своего освобождения, я, вчерашний арестант, сидел за покерным столом в Королевской Нидерландской миссии в Пекине и с некоторым удивлением видел, что не совсем еще разучился играть: не путаюсь в случаях, когда стрейт сильнее брелана.

Значит, столбики разноцветных жетонов; жемчужные застёжки в пластромах рубашек; между бритыми подбородками чья-то монументальная ассирийская борода; виски и сода почти без соды; сухое шампанское. И ниоткуда не бежавшие, никогда не знавшие голода, европейские женщины в открытых платьях с бесконечно вырезанной спиной.

Вечер, как вечер, — для меня замечательный тем, что на нем я был представлен M-lle Андрэ Бремон, когда-то из Императорского Михайловского театра, а ныне из Одеона.

Впрочем, последнее тоже было скорей почетным титулом, ибо фактически M-lle Бремон уже давно не выступала на подмостках второго театра Франции; и по уважительной причине: в обществе друзей, — яхта и автомобиль, — уже второй год она путешествовала по Востоку, ближнему, среднему и дальнему.

Я не думаю, чтобы для Андрэ Бремон скрытой целью этого путешествия были поиски Волынского. Слишком неправдоподобно рассчитывать встретить в Кандараге, Калькутте или Пекине человека, пропавшего без вести на Волге.

Конечно, нет.

Значит, позабыла?

В тот вечер я сам себе не мог еще ответить на этот вопрос и единственно, что знал безошибочно, — потому что такие вещи чувствуются сразу, — это, что рядом с Андрэ Бремон не стоит никакой мужской фигуры. Ни мужа, ни любовника.

И путешествие ее ни в каком смысле не свадебное.

Но... оживленная, в меру любезная и в меру веселая...

Разве я знал тогда, сколько писем написала Андрэ во все, какие только были на территории Совдепии, посольства, консульства и миссии; сколько переплатила денег людям, нарочно ездившим в Москву, Ростов и даже в Круторожск! И все с одною только целью, разыскать хоть след Вольнского.

А что принимала жизнь, — так разве можно не принять ее тому, в ком вся гармония?

Я внимательно приглядывался к Андрэ Бремон.

Вспоминаю. И говорю снова: безукоризненная гармония.

Вообще, для красоты француженок почти не имеет значения правильность черт. Основное и самое ценное в ней всегда игра лица и ритм движения. Заметьте, только француженки умеют ходить; они, — и те немногие женщины других народов, которые на них похожи.

Так у Андрэ Бремон все, — походка, движение рук и каждый поворот шеи, и каждая улыбка, — все, все будило представление о той *douce France*, пусть идеальной, которая живет в стихах поэтов от Ронсара до Жеральди.

И музыкальный голос.

В гостиной говорили о шанхайских скачках, о громко скандальном разводе, о театральных пьесах последнего сезона в Париже, об авторах и актерах. Кто-то восхищался рекордной роскошью бриллиантов, которые в разное время повывезли из Петербурга товарки M-me Brémont по Михайловскому театру.

Андрэ заметила:

— Я знаю других, которые оставили побольше, чем украшения.

Значит, не забыла?

Проверять на людях я во всяком случае не хотел.

XVII

Я предпочел написать Андрэ Бремонт на другое утро. Длинное письмо, на пяти страницах. Написал все.

И через полчаса уже звал меня нетерпеливо беспокойным звонком телефон, а еще через сколько-то минут я сидел с Андрэ Бремонт в ее отеле.

Необозримый холл большого паласа. Пустой. Группа пальм. В глубине неподвижные фигуры двух боев китайцев.

Напротив меня, отделенная лишь малень-

ким столиком, Андрэ. Очень потрясенная. Утреннее, нетронутое никакими карандашами, лицо. И только рот, — такая вишнево красная черта с то радостными, то страдальческими углами.

Как вы хотите, чтоб я сказал, была ли Андрэ Бремон убита или наоборот воскрешена! Была, — как беспокойный день, в который сквозь приступы короткого дождя все время мечет свои лучи и солнце.

И солнце всетаки обыкновенно побеждает.

Андрэ заставила меня повторить все снова и слушала напряженно. О поисках большевиков; об опиуме; о клетке... Я видел, как она менялась в лице. И то, закрыв глаза, она шептала:

— Ужасно!

Она повторяла, упиваясь смыслом радостных слов:

— Я знала, что он жив! Я всегда знала, что он жив.

Когда же я кончил, наступила минута молчания; того живительного молчания, когда отзвучавшие слова претворяются в мысль и в решение. Одна минута сосредоточения вовнутрь.

Затем, через стол, Андрэ Бремон протянула мне руку:

— Друг мой, я спасу его. Хотите вы помочь мне в этом? Поедете со мной туда?

Ехать туда. Лян-Чжоу-Фу... Урумчи... Последнее время я не очень-то думал об этом.

Но, — конечно, я поеду вместе с ней, с Андрэ Бремон.

И тут мне так ясно вспомнился Вольнский, высокомерно безразличный, отсутствующий из этого мира. Наше прощание с ним, — мертвое.

Напрасно, очень напрасно m-lle Бремон думает, что он жаждет быть спасенным.

Я вспомнил все.

Вспомнив же, понял вдруг, сразу, что нет такой силы, которая позволила бы мне теперь, отказаться от поездки. Пешком и босой пойду.

Потом что, — тем, кто уже не страдает, кто ничего не хочет, кто готов отшвырнуть переброшенный со спасательной лодки канат, тех то и нужно, особенно нужно спасти.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа, — против черного.

Да, сейчас, когда я рассказываю, у меня это вышло длинно: не успевают за мыслью слова. Тогда же, на деле, никаких пауз не было.

Просто я взял протянутую мне Андрэ Бремону руку и поцеловал:

— Конечно, я поеду с вами.

На счастье ли?

XVIII

Я сказал: босой и пешком?..

Слушайте же, — на аэроплане мы вылетели.

В тот самый день, что Андрэ узнала о судьбе Волынского, собрался у нее ¹военный совет, французско-американские друзья, с которыми она путешествовала, — помните, хозяева яхты и Кадиляка; и двое испанских офицеров-летчиков, только что закончивших воздушный рейд Барселона — Калькутта — Пекин. Сливки спортивного мира.

Вопрос обстоял так. Земных путей, чтобы проехать из Пекина в Урумчи, есть два: во первых, на Лян-Чжоу-Фу, — старая императорская дорога, без мостов через реки, для автомобилей малю пригодная и на придачу загороженная в ту пору солдатами Фына; другой же путь, степью через Монголию. Здесь нет больших рек и немного короче, но... в пустыне за Калганом абсолютно негде, разу-

меется, достать бензину, и значит, надо заранее организовывать снабжение*).

По-туземному же, на лошадях или на верблюдах, от оазиса к оазису едут сто с лишним дней.

Прямо отчаяние...

Испанцы летчики сразу же предложили свой авион «El pajarо azul», что в переводе означает «Синяя птица»: по воздушной линии от Пекина до Урумчи всего лишь около трех тысяч километров; примерно, половина расстояния Нью-Йорк — Париж.

«Синяя птица» же — гигантский моноплан с мотором Hispano Suiza в 600 сил, могущий при четырех пассажирах взять 4½ тысячи литров горючего.

Летчики с видимой гордостью перечисляли технические данные своего аппарата: трудный, но для них вполне возможный перелет.

Они предложили. И Андрэ Бремон их предложение приняла.

От автомобильной же попытки через Калган — Монголию, — уже из чисто спортивного упорства, — не захотели отказаться дру-

*) Так, между прочим, хотел проехать в Урумчи Келлерман, автор «9 Ноября» и «Туннеля». Бензин он предполагал выслать вперед на верблюдах.

зя Андрэ, муж и жена. Объявили, что возьмут с собой две, три и пять машин погруженных специально бензином, истратят пятьдесят тысяч долларов, — но проедут.

Встреча в Урумчи.

Так решили, — и сразу же затрещали телефоны во всех министерских кабинетах в Пекине, полетели телеграммы ко всяким провинциальным генералам. Запрашивали об участи Волинского, устраивали пропуска.

Каждый шел навстречу желаньям Андрэ.

Здесь я никак не могу удержаться от маленького замечания: если-б не была она известной актрисой, фотографии которой печатаются в журналах всего мира, и если-б вместо яхты архимиллионеров друзей приходилось бы ей путешествовать в обыкновенной каюте второго класса, конечно, не помог бы ей никто.

Но это в скобках.

Решимость и энергия у Андрэ Бремон остались бы все те же.

... И тем лучше, что были у нее красота, известность и деньги.

Автомобильный караван вышел через три дня, а полет все приходилось откладывать: испанцы со всею тщательностью готовили свой аппарат и ждали, кроме того, благопри-

ятных амтосферных условий. Так пропала для нас целая неделя, в течение которой Андрэ нервничала, жалела, что не уехала через Монголию и отбивалась от репортеров.

Но всему бывает конец. Одиннадцать часов вечера по Пекинскому времени, — ночной отлет для того, чтобы можно было сесть засветло там, в Урумчи. Белое электричество фонарей на аэродроме. Работал мотор. Щелкали аппаратами фотографы.

Отслужив короткую мессу, — и Андрэ Бреммон, и офицеры-испанцы были верующие, — отцы миссионеры окропили святою водою крылья «Синей Птицы».

Еще последний осмотр. Прощание, рукопожатие, поцелуи. Мы вошли в кабину.

В своем авиаторском шлеме Андрэ была, как Пентезилея, царица амазонок.

От волнения немного бледная.

Забирая скорость «Pajaro azul» стремительно побежал по полю аэродрома и, кажется, на тридцатой секунде великолепно отчетливым взлетом отделился от земли.

Залитый электричеством аэродром сразу стал маленьким тусклым кружочком.

Я не помню первых, нсчных часов полета. Потом, — рассвет. Поля Города. Снова поля.

За Су-Чжоу мы летели над пустыней, сни-

жившись так, чтоб можно было следить путеводную цепочку телеграфных столбов.

Изредка пятна деревьев в оазисах. Иногда верблюжьи караваны. Конский обоз.

И не успело еще уйти за горизонт обогнавшее нас за день багровое солнце, как стал виден внизу серый муравейник — Урумчи. Прилепленные одно к другому предместья. Стены китайского города. Башни и крыши на них точно диковинные шляпы, островерхие с загнутыми кверху полями.

Андрэ, наклонившись к самому моему уху, спросила, где тюрьма, — и с воздуха я никак не мог показать ей точно.

Двадцать два часа полета.

Конец.

Описав просторный круг над Урумчи и с высоты высмотрев место, «Синяя Птица» села на землю почти под самым городом.

На поле во мгновение ока собралась толпа. Восторженная, — ибо даже и в самых медвежьих углах всего сильнее сердце людей волнуется при виде спортивных подвигов.

И въезд Андрэ в Урумчи вышел очень триумфальный. Под оглушенные крики китайцев, дунган, кашкарлыков-сартов, киргизов...

Европейских отелей в Урумчи нет ни одного, и приезжим приходится прибегать к частному гостеприимству.

Нас принял доверенный братьев Райан. Американская фирма, занимающаяся скупкой пушнины и бараньих кишек: кишки идут на ракеты для тенниса и на изготовление фильмо-вых пленок.

В таких местах, как Урумчи, белые все знают друг друга, и не прошло получаса, как хозяева уже смогли сообщить Андрэ самые свежие сведения о Волынском.

Все в тюрьме, но переведен в каторжную, и канцелярия цзянь-цзюня уже принципиально согласилась на выдачу Волынского большевикам.

Слишком долго и слишком скучно рассказывать в подробностях историю хлопот и визитов Андрэ к китайским властям. Была она у генерал-губернатора цзянь-цзюня Янга, — южанина, правившего Син-Цзянской провинцией чуть не двадцатый год. И Янг цзянь-

цзюнь передал ее дао-иню Фану, своему помощнику по гражданской части*).

Иметь дело с азиатами нелегко.

Правда, Андреэ привезла из Пекина приказ об освобождении Вольнского, но какой же вес могли иметь распоряжения безвластного центрального правительства за тридевять земель, — за три тысячи километров от столицы, в стране, куда попадать надо на аэроплане?

К тому же Фан дао-инь был чиновником хитрым и скользким. Он любил и умел тянуть.

Единственно, чего добились Андреэ почти сразу, это — свидание.

Когда мы выходили из губернаторского ямыня, чтоб ехать в тюрьму, Андреэ столкнулась лицом к лицу с консулом СССР. Мясистый тип с несвеже-бритою синей губой.

XIX

Я никогда не забуду их первого свидания.

*) К слову сказать, отношения этих двух высших китайских чиновников кончились трагедией: в борьбе за власть Фан дао-инь убил Янга и сам был застрелен одним из подчиненных Янга. Случилось это в 1928 году.

Высокая, из сырцового кирпича стена ка-торжной тюрьмы. Въезд. Длинный внутрен-ний корпус, похожий не то на рабочую фан-зу, не то на казарму, какие бывают на заху-далых русских пограничных постах. Решет-ки на окнах. Бескосые солдаты в серых и по-лицейские в черных куртках смотрели на Андро Бремон с нескрытым любопытством: женщина, прилетевшая по небу...

В предшествеии губернаторского чиновника китайца мы прошли через подобие канцеля-рии, через комнату сторожей, в которой га-достно пахло жильем и стояли облепленные мухами остатки еды.

Дальше помещение заключенных. Одно. Другое. То, в котором содержался Волынский.

Как и всюду, — мало света, спертый воз-дух и похоже на коридор, по обе стороны ко-торого традиционные ночные клетки.

Его клетка.

Нет ничего более унижительного и стыдно-го, чем это китайское изобретение. Арестант — всегда бедный; всегда хоть чуточку да жалкий, и потому больше, чем всякий другой человек, имеет нужду в том, чтоб было бы его хоть иногда не видно. А тут без стены, за сквозною решеткой, он под чужим взгля-дом во все минуты жизни, — когда спит, ког-да ест, когда делает все то бедное, из чего

слагается его арестантская судьба. Далеко европейскому глазку, проделанному в дверце, до этой китайской системы.

Волынский в своей запертой почему-то и на день, клетке спал. Лежал в углу на неаккуратно постеленном одеяле. Какое-то тряпье под головой.

В шаге от него двое туземцев, сидя на корточках, ели из общей миски. Отощавшие собаки. В паршах.

И Андрэ все это видела. Видела сама, — а тюремщик еще предупредительно указал, чтоб знали гости, куда смотреть и куда итти; не ошиблись бы.

Мы вошли в этот зверинец втроем: Андрэ Бремон, я и цзянь-цзюневский чиновник китаец. Чиновник официально бесстрастный. Я, — тоже привычный ко всему этому стыду, на собственной шкуре мною испытанному. Андрэ же, — когда увидела и когда догадалась, — остановилась. Сразу, — точно о стеклянную стену ударилась.

Думая, что вот сейчас Андрэ упадет, я поддержал ее за локоть.

Излишне.

Андрэ Бремон не упала в обморок, не пошатнулась, не закрыла глаз. Только, бледная с самого утра, сейчас она побледнела еще больше.

Сторож пошел снимать замок. Неторопливо подбирал нужный ключ, позвякивая всей их связкой. Отыскал. Вставил в скважину. Повернул.

Такой кричающий звук.

И, оставив мою руку, Андрэ опрокинула невидимую преграду: бросилась прямо перед собой к этой клетке и к решетке, схватившись обеими руками за ее деревянные прутья. Она не плакала, но вздрагивала вся.

Один из двух туземцев-арестантов, оторвавшись от своего вонючего варева, тронул Вольнского рукой, толкая, чтоб разбудить.

— Товалища, твоя сипи не надо. Тебе ма-дама плишел.

Ломанные слова; китайцы плохо произносят эр...

Вольнский открыл глаза. Приподнялся на своем грязном тряпье.

Он увидел Андрэ и понял, что это на яву, — впрочем, какие-нибудь слухи должны уже были дойти до него.

Понял, — и не радость, не волнение, не растерянность даже изобразились у него на лице, а смущенное стеснение.

Первая фраза, которую он произнес, была:

— Подождите, я сейчас выйду.

В этой клетке была низкая маленькая дверь, и чтоб выйти из нее, надо было лезть

на четвереньках. Как зверь. Да и был Волынский исхудалым зверем: заросший жидкой бородой; длинноволосый.

Он выползал медленно и молча. И все время, что он лез, Андрэ не переставала повторять самые нежные, какие есть в человеческом языке, слова:

— Моя любовь. Мое счастье...

Точно ручеек живой, — ласкою своею живой, — воды. И просунув руку сквозь прутья решетки, все время Андрэ ласкала Волынскому голову, плечи, шею... Так нежно, нежно касалась, точно пальцами своими хотела снять боль и закрыть в сознании Волынского все нищее уродство этого выполза на четвереньках.

Да, в любви, — в хорошей любви, — между всеми цветами спектра непременно есть и нежный цвет материнского чувства. И в любви Андрэ сейчас сиял только он.

— Мой бедный мальчик, что они с ним сделали...

Волынский вылез, наконец; стал на ноги, неуверенно устало выпрямляясь, — и Андрэ обняла его голову, плача, смеясь, не замолкая и на минуту.

Он же сказал:

— Так вы приехали? Мне говорили уже что-то, но я не мог понять.

Потому же, освободившись от объятий Ан-дрэ, он протянул мне руку:

— Здравсуйте. Это, благодаря вам устроилось?

И снова меня поразило выражение принужденности на его лице.

Помню я еще и вечер этого дня, — после свидания.

В усадьбе, принадлежавшей торговому дому братьев Райан, спальни моя и Андрэ приходились рядом. И стена между ними не очень толстая.

Поэтому мне было слышно, как Андрэ укладывалась на ночь. Как она ходила по комнате, напевая.

Простой и однотонный мотив колыбельной песенки. Самой детской из всех:

Do — do, l'enfant do...

L'enfant do-rmira bientôt.

Верно, так баюкали ее в детстве. Или думала она сейчас о том ребенке, который мог бы быть и которого никогда у нее не было.

Do-do, l'enfant do...

Странно: ровно ничего нет в этом мотиве грустного, а когда я слушал через стенку, как напевала себе Андрэ, у меня сердце стало щемить.

XX

На другой день мне передали из тюрьмы просьбу Вольнского притти к нему; и чтобы пришел я обязательно один.

Дикая просьба, — но я уже понимал смутно, что иначе, чем по дикому, не может в данном случае и быть.

Пошел, понятно, сейчас же.

В тюрьме — улучшение. Тех двух китаёзов, что сидели с Вольнским, куда-то убрали. Вместо пропотелого одеяла, красивый плэд. Чистое белье. Чистая подушка.

Я застал Вольнского на этот раз не в клетке, а на вольной воле, в незаделанной куриными решетками середине арестантского помещения. Был он теперь гладко выбрит, и, может быть, именно потому, что приняло человеческий вид лицо, стали сразу заметней его глаза, — впалые и пустые. В разговоре

Вольнский все время шурился, точно самый вид людей и неодушевленных земных предметов был ему странен.

Существо же разговора — неудовольствие Вольнского на то, что смеют хотеть его спасти.

Начал он с благодарности:

— ... За то, что вы (это я-то) дали себе труд разыскать Андрэ и привезти ее сюда. Этот поступок несомненно свидетельствует о вашей хорошей памяти и подлинно дружеских чувствах.

Холодность замораживающая. И, обращаясь ко мне, Вольнский очень отчетливо строил свои фразы.

Я сразу насторожился.

Дальше же, — дальше Вольнский отказался начисто от всякой помощи:

— Самое лучшее, что вы вместе с М-лле Бремон можете сделать, — как сейчас помню его слова, — это улететь обратно туда, откуда вы прилетели.

Меня взорвало, и я спросил враждебно резко, знает ли Вольнский, что без М-лле Бремон здешние китайцы на другой же день выдадут его большевикам.

Вольнский открыл свой левый глаз, перед тем сощуренный.

— Знаю. Но от этого ничто не меняется. Что могут большевики сделать мне?

Наш разговор шел в тонах сражения, вызова на дуэль.

Я подчеркнуто улыбнулся.

— Вам приятно представить себе заранее? Извольте, — хорошая каменная стенка в Омске или в Красноярске, на выбор, и пуля в затылок. Или вы думаете, что вас они не сумеют убить?

— А кто вам сказал, — угрюмо отозвался Волынский, — что я уже не убит и не менее мертв, чем все те, что лежат по своим могилам? . . Или, — добавил он, — бродят без могил. . .

Мы оба замолчали. Сидели так, не знаю сколько минут.

Потом Волынский тронул рукой мое колено:

— Слушайте, я не хочу, чтоб вы продолжали не понимать. Каждый человек живет лишь в силу того, что в нем заложена гармоничность, позволяющая принимать жизнь. Во мне она расстроилась, и высохли источники жизни. Уже давно я хочу лишь одного, чтоб кончилось поскорей мое существование. Как, — это все равно; и в сущности, большевиков я еще предпочитаю. Ясно?

Волынский говорил еще долго.

О том, что он чувствует себя таким старым, старым, старым. . . — точно ему тысяча лет. Что он и не хочет ни молодости, ни воскрешения. Что для него нет и не будет ничего, кроме нескончаемой ночи. . .

Коротко, вся та ерунда, что все неврастеники выкладывают в кабинетах врачей по нервным болезням.

Ерунда. . .

Так я тогда думал.

И я спросил его, неужели же он, генерал Вольнский, дошел до такой. . . *goujaterie*, чтоб оттолкнуть и обидеть женщину, преодолевшую ради него все препятствия. Женщину, которая его любит и которую он любил.

Вольнский уставился на меня тяжелым, нездешним взглядом.

— Слушайте, — выговорил он странно отчетливо. — Именно оттого, что я в какой-то мере еще люблю М-лле Бремон, и потому тоже, что я еще не сумасшедший, я и хочу избавить ее от несчастья спасти меня. Я, — он понизил голос до шопота, до очень внятного шопота, — я опасный. Вдруг я. . .

Он оборвал на полуслове и только, придвинувшись совсем вплотную, упершись в мое колено, смотрел в самые глаза мне. Сверлил скверным штопором.

Ерунда. . .

Но я почувствовал, что с этой минуты боюсь Вольтинского; боюсь тем иррациональным страхом, каким собака распознает присутствие мертвого, — или того, что скоро станет мертвым.

Помню, я отодвинулся даже и убрал инстинктивно свое колено.

Но вслух продолжал настаивать. Ерунда... *Goujaterie*...

Вольтинский слушал молча и, когда я сам устал от своего красноречия, улыбнулся насмешливо, зло и высокомерно:

— Пусть будет по-вашему. Я принимаю. В конце концов, мне все равно. И, разумеется, — прибавил он повелительно, — ни звука об этом M-lle Бремон.

Честное слово, в ту минуту я просто пожалел, зачем Вольтинский согласился.

XXI

Андре Бремон ничего не узнала об этом разговоре и, дав китайцам вдесятеро против

того, что сулил им за выдачу пленника советский консул, выкупила Волынского, радостная тем, что может пожертвовать для него и бриллиантами и жемчугами и изумрудным колье. Выкупила за 80.000 американских долларов, что составляет в Син-Цзянской провинции несколько более 400.000 лан.

И, понятно, Фан дао-инь согласился принять в уплату отнюдь не чек, а хорошие долларовые бумажки, которые пришлось доставить при помощи автомобильных друзей Андрэ с их, раскрывающим все кошельки, мировым кредитом.

Следовательно, опять радиogramмы в Пекинские банки, ожидание ответов, нудные переговоры с китайцами. Все это заняло девять дней.

На десятый, когда Фан дао-инь, пересчитав, запер деньги в кассу, Волынский стал снова свободным. Сидел за европейским столом «mon général» от летчиков-испанцев; и на него излучалась сияющая нежность Андрэ.

В ответ Волынский сумел найти несколько улыбок, достаточно приличных, чтоб ими можно было обмануть, — по крайней мере на первое время. Тем более, что Андрэ, как мне тогда представлялось, хотела ведь быть обманутой.

Я, — нет. И от меня ему невозможно было

спрятать то равнодушие обреченности, с которым он подчинился внешнему ходу событий. Потому, я все время наблюдал за Волынским со смутным опасением, — не умею точно определить чего и за кого. За него... за Андрэ Бремон... за них обоих вместе...

Должен сказать еще, что на Волынского я смотрел сейчас почти как на врага, но самое ощущение этой враждебности было связано с большою болью. Потому что любил я его сильно.

Кроме-ж любви, еще вот что. Когда-то, до войны случилось мне видеть на Коломяжском ипподроме розыгрыш одной скачки с донельзя незаурядным исходом. Кажется, это был приз Государыни Императрицы. Вел с начала и до конца Лазаревский жеребец с широким и могучим махом. Лошадь совсем другого класса, чем вся компания.

Когда он вывернул на прямую, никакого сомнения не было: все соперники были, как водовозные клячи. Комнатные собаченки. Вдруг Лазаревский жеребец стал.

Все прошло мимо. Хуже, чем брок-даун, хуже, чем разрыв сухожилия: жеребец сломал себе ногу в путовом суставе. Без паденья.

Его пристрелили на конюшне.

Там лошадь, а здесь большого класса человек. И знать, как я знал, что для него, это-

го человека, быть вырученным из китайских или большевицких лап не является никаким спасением; что, наоборот, сейчас он под угрозой худшего; идет по узенькой жердочке, с которой каждую минуту может сдуть его ветер зла; и главное, что это злое уже почти неотделимо от него самого, — все это трудно было принять и признать мне, который руку дал бы себе отрубить, чтоб только не возобладала над Вольнским тьма.

Одно светлое пятнышко я все-таки заметил. Проблеск такой.

Шла речь об обратном пути. Авион или автомобиль. Испанцы опять предложили лететь с ними: скорее и достаточно верно.

Они были совершенно правы.

Неожиданно для всех отказался Вольнский. Отказался и при этом даже весь изменился в лице: соскользнула его учтиво довольная маска, обнажив искаженные диким страхом черты.

Было это коротко. Одно мгновенье. Но я хорошо увидел и понял, чего он боится.

Бездны.

Необъятно синей отсюда, а там вверху безцветной бездны, которая тянет выкинуться в небытие.

Как Левенштейн, бельгийский банкир миллиардер.

Сделать вот это самое и боялся Волинский, нищий. Выброситься с аэроплана. Одному или вместе с кем-нибудь.

Но раз есть боязнь, — значит, не высохли до конца источники жизни. Не совсем выпал еще человек из благостной десницы Бога Живого.

XXII

Мы выехали через Монголию. Андрэ, ее друзья, Волинский, я. Выехали на двух машинах, по дороге, битой только копытами некованных степных коней.

Мохнатые шашки встречных всадников. Кибитки. Верблюды. Дымки становищ, видные за двадцать верст. Наше путешествие стоило бы зафильмовать.

Андрэ все время была оживленно радостной, а на лице у Волинского продолжала лежать неснимаемая маска вежливого спокойствия.

Личина...

Было так. Перед вечером третьего дня пути в одной из наших машин случилась поломка, с которой мы очень долго провозились так что пришлось заночевать в степи.

Степь, — это не совсем точное слово. По

настоящему, Гоби каменистая пустыня, не имеющая ничего общего с радостным зеленым привольем Аргентины или южно-русских степей. Угрюмые камни и еще более угрюмые курганы над могилами забытых владык. В таких курганах находят топоры из нефрита, и с них взлетают вспугнутые машиной мелкие степные орлы.

Там, где мы заночевали, скаты кургана поросли колючками, а у подножья серою лужей разлилось озеро с не слишком горькою, на наше счастье, водой.

Вечер был холодный и ясный. Вслед за ним упала на землю лунная ночь. Дым от костра стлался по ветру.

Вдали призывно и тягуче завыл одинокий волк.

Верно, в такую или в очень похожую ночь приходил за Волинским красноармеец под Круторожском.

Мы ночевали в машинах, и мужчины дежурили поочередно. Смена через три часа.

Сдав свое дежурство одному из шофферов, я сразу заснул под теплым одеялом и, кажется, ничего не видел во сне. Посреди ночи меня разбудило чье-то прикосновение.

Тревожное.

Я открыл глаза: Андрэ.

Она трясла меня за плечо.

— Мой друг, проснись, вставайте. Его нет. Подумайте, он ушел.

Не было надобности пояснять, кто.

Я вскочил. Освещенное луной лицо Андрэ было такое бледное и в ее глазах я прочел, что она тоже знала.

Все это время знала все о Волынском не хуже меня. Только вот скрывала лучше.

— Он ушел, должно быть, совсем недавно. Я сразу почувствовала, что его нет. Его надо найти. Догнать...

В ночи все пел свою проклятую песню тот волк.

Догнать...

Разбуженный лагерь вставал. Я взбежал на верхушку нашего кургана-могилы.

Ночью, как бы ни силилась луна, все равно, особенно далеко не увидишь. Но, верно сказала Андрэ: Волынский ушел только что. С кургана я различил черную движущуюся фигуру.

Волынский...

Я крикнул, что вижу, и бросился вслед.

За мною, Андрэ и другие.

Хожу я, как ходили стрелки: так что обгоню на шагу походную колонну конницы. Но Волынский удалялся с почти неестественной скоростью; и шел все прямо, как летит стрела, по усеянному обломками гранита пу-

стынному полю. Точно плиты на кладбище, — и он ни разу не остушился, не упал.

Уходил... Куда?

На заунывные призывы волка?..

Я оглянулся. Позади белелся силуэт Андрэ. Других совсем не было видно.

Все равно, я прибавил бега. Камней становилось все больше. И все крупней их размеры. Скалы. Лабиринт скал, по которому Вольнский шел уверенно быстро, как машина. Думаю, что гнался я так с версту.

Все-таки догонял.

Настигал и звал его громко, — но он не откликался.

Вот близко уже. Расстояние в шагах. Десять. Пять. Два...

Передо мной, — значит, и перед Вольнским тоже, — в проломе между скал открылась обрывистая впадина. На дне ее, под нашими ногами, постеленное черной простыней, лежало озеро. Мертвое озеро без зыби, с короткой и узенькой полоской, которую посеребрила луна.

— Вольнский! Вольнский!

Никакого ответа.

— Куда!

Я схватил Вольнского за плечи. Сзади, за оба плеча. И я не из самых слабеньких, — но

все, что мне удалось, это лишь задержать его и заставить обернуться.

С двойною и с тройной, совсем не человеческой силой, Волынский стряхнул меня с плеч и, перейдя в нападение, приподнял, оторвав от земли. На мгновение я увидел его лицо, сосредоточенно злобное, — его и не его. Почувствовал на себе дыхание.

Затем Волынский швырнул меня о землю, так что я покатился. Хорошо, что в обратную сторону от обрыва.

Вся борьба наша заняла лишь несколько секунд, но что-то за эти секунды изменилось.

Когда, после падения, я пришел в себя, то увидел такое: на тесной террасе над обрывом к мертвому озеру, две фигуры вместо одной. Черною обезьяной вздыбившийся Волынский и, заступив ему дорогу, тоненькая фигурка женщины, при луне светлая, как в серебре.

Андрэ.

На том берегу озера, теперь совсем близко, завыл опять волк. Охотничьим воем.

Я попробовал встать и не мог: непреодолимо острая боль в ноге. Повредил.

Андрэ... Волынский... Его руки...

В кармане у меня был револьвер, и я его выхватил.

Если промахнусь, — не дай Бог.

— Маленький. . .

Так, верно, она звала его в минуты самой большой, самой последней нежности, когда раскрывается душа.

— Маленький. . .

Голос Андрэ звучал молитвой.

Стрелять?

Волынский, все с так же поднятыми руками, сделал шаг назад.

Отталкивался от той, что звала его, но отступал, птясь, — и руки его, перед тем злобно поднятые, опустились.

За ним же, все ближе к нему, — как Божье виденье, — Андрэ.

— Мой маленький. . .

Волынский шагнул еще назад и, покачнувшись, упал на камень.

Потом до меня донеслись прерывистые звуки рыданий. Плач мужчины, который давно, может быть тридцать лет уже, как разучился плакать. И мне видно было, что Андрэ обняла его голову — бедную голову.

Я спрятал револьвер.

Сзади, перекликаясь между скал, спешили люди. Теперь уже не к чему: черное в судьбе Волынского переломилось.

ТРЕБУЙТЕ

**во всех газетных киосках
книги нашего издательства**

«Мастера ужасов». «Властелин мира»
«Цирковая кошка» Марк Твэн —
 рассказы.

Новиков Прибой — «Ералашный рейс»
Гаршин — «Красный цветок»

В ближайшее время выходит
из печати

2-я книга

«Мастеров ужаса».

